

Адолф Арцишевский



ВОТ КТО-ТО С ГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ...

Народный роман

VI

– Ты, Коля, пойми, я не осуждаю тебя за твою никудышнюю старость. Старость, как молодость, – пришла и, видишь ты, ушла. И тебя с собой прихватила. А жизнь свою ты прожил по своему разумению, ты теперь за неё перед Богом ответчик, да разве что перед сынами своими, шибко говорливыми и брехливыми. Ты помирал, они чесали языки в соседней комнате, и помер – их даже это не остановило.

Я ещё пыталась дозваться тебя: «Коля, Коля! Ты слышишь меня?»

– Ну вот, – сказал Валентин, твой старший, – он уже не слышит тебя, Ильинична. А Валерий, твой младший сыночек, сказал... Стой, как бы тут не соврать: – И рождение, и смерть – всего лишь банальные ситуации в жизни, – во как! – Умри, лучше не скажешь, – восхитился Валентин. – За это надо выпить. Наливай.

И не стыдно им, Коля?

– И не стыдно вам, парни?

– Ша, мы и тебе нальём. Валера, ей тоже.

– Так стакана нет.

– Стоп. Где стакан?

Тыфу!.. Тут я подрастерялась, Коля. Ты пойми, если помер человек, надо сообщить куда-то, а куда – смекнуть не могу.

– Парни, – говорю им. – Надо скорую вызвать. И милицию.

Валентин – тот поперхнулся даже:

– А милицию зачем?

– Чего – зачем?

– Милицию зачем?

– Так справку надо. Мол, сам – своей смертью.

– А ты чё дёргаешься, а?

Ну, Валера так и ловит зацепку, чтобы брата поддеть.

– Валюсика ты вырастил. Ты что – злостный неплательщик алиментов?

– Я их уже не обязан платить.

– Во! Ты теперь имеешь право – полное гражданское право – выпить с участковым. Запросто выпить.



- Ну да! – Валентина аж пот прошиб.
- На брудершафт!
- Не-е, с участковым не буду.
- А жаль! И скажи ты мне, как старший брат младшему...
- Всё, теперь он будет доставать.
- ...вот почему ты оставил жену, богом данную? Она же тебе, троглодиту, сына родила, фамилию Богатырёвых продлила. Характер у неё золотой...
- Чего-о?
- Характер. Да на неё молиться...
- Ага. Она святая. Она...
- Ну, ну? – подзуживал Валерка.
- Ты женщин не знаешь, братан. Я тебе вот что скажу...
- Скажи мне, скажи!
- Мужик – вещь хрупкая.
- И чистая. Как хрусталь.
- Не, но ты согласен? Мужик – вещь хрупкая, и женщина должна понять...
- Обязана!
- ...что руководить мужиком надо так, чтобы он об этом не подозревал.
- Да! А то ему будет больно. Нестерпимо!
- Во! Чтоб он не чуял. А когда тебе – раз по морде, два – по морде, ты, естественно, начинаешь подозревать.
- О, господи, Коля! Уйми их хоть смертью своей.
- Так, я вызываю, ребята. Милицию. И скорую.
- Скорая не приедет, – завозражал Валерий. – Сутки назад отказалась.
- Теперь – приедет! – Валентин саданул кулаком по столу, аж стаканы вякнули.
- Вызывай...

Ну вот, Коля, теперь тебя отвезут в морг. Ты уж прости, как всех, так и тебя. Ты поезжай себе спокойно, мы тебя, когда надо, заберём и похороним, как положено. Не знаю, правда, как мы их сделаем, эти похороны, но как-нибудь сообразим...

Так она разговаривала – уже не со стариком Богатырёвым, и даже не с телом его остывшим, а с фотокарточкой покойного, которая вдруг отыскалась: Ильинична пристроила её в уголочке, на тумбочке из-под телевизора, обвязала край фотографии чёрной лентой, поставила рядом свечу, которую только что держал в руках покойный.

Скорбящие сыновья на время исчезли.

– Хоть мы с тобой одного поля волчья ягода, – говорил Валерий, выходя на лестничную площадку, – но ты, Валя, как засидевшаяся в девушках лошадь...

– Прошу не оскорблять!

– Кого, Валюша? Лошадей? Девушек?.. Ну, ну, я слушаю тебя, – Валеркин голос скатывался вниз по лестнице. – Ты что-то хотел мне сказать? Какую-то гадость, да? Нет? А-а, ты забыл. Прости, что я сбил тебя с мысли...

И всё-таки хоронить его надо. Но как? Тут и деньги нужны, и машина, и человек, который бы крутился между кладбищем, моргом и домом. И поминки, и... И пока Ильинична бегала по соседям, собирая с миру по нитке – кто денежку даст, кто простыню, кто тарелки да стаканы для поминок – вдруг объявился Игорь, стремительный и деловой. Он уже созвонился с геологоуправлением, где когда-то работал Богатырёв, там ахнули и сразу же пообещали надгробный памятник – металлическую пирамидку со звездой, а Игорь заодно выцыганил у них и оградку, и машину в день похорон. И тут же вынужден был назначить похороны на послезавтра, машину-то надо заказывать загодя, и надо точно знать время и день.

Ильинична поплакать было нацелилась и подготовила слёзы и весь свой организм для этой процедуры, но Игорь сходу взял её в оборот и подключил ко всеобщей суматохе, так что поплакать не удалось, она отложила это дело на потом, охотно подчинившись сыновней воле и сразу же поверив, что он знает, что надо делать и как, и сделает по уму, как он делает обычно всё, за что берётся. Она как-то из виду выпустила, что ему, слава богу, ещё ни разу не приходилось соучаствовать в таком скорбном мероприятии.

Как сговорившись, разом приехали обе машины – и милицейская, и скорой помощи. И всё в Ильиничне подобралось и захолонуло, будто за ней приехали, будто бы ей сейчас предстояло отправляться в дальнюю и страшную дорогу, что навеки вечные отъединит её от желанного, родного и тёплого мира живых, с которым свыклось и не хотело расставаться её немолодое, изношенное тело, может быть, бестолковое в своей старости, но ещё не растратившее всех отпущенных сил, ещё жадное к боли и радости, к задумчивой и потаённой глубине неостановимой пульсирующей крови.

По квартире Богатырёвых ходили чужие, официальные люди, а Ильинична в цепящей тоске затаилась в уголочке на кухне – там, где её прихватило предощущение последней и смутной, как бездонный колодец, беды. И чтобы жить дальше, надо было одолеть дурную тошноту той смертной тоски. Занятая этим неотложным делом, она вдруг увидела из кухонного окна, что обе машины – и милицейская, и скорой помощи – так же разом, как приехали, разворачиваются и уезжают.

Она в испуге заглянула в комнату:

– А его что – не забрали?

– Зачем? – Игорь накручивал диск телефона. – В поликлинике знали, что он безнадёжный. Справку дадут, можно без вскрытия. Алло! – ему ответили на том конце провода, и он заспешил навстречу новым проблемам, которые рождает человеческая смерть. – Кладбище? Как? Спецкомбинат бытового... так... обслуживания? Понятно. Значит, завтра можно всё заказать и оформить? Спасибо.

Он положил трубку телефона, принялся дальше листать свой блокнот.

– Та-ак. Теперь – военкомат, совет ветеранов. Там хоть сколько-то ему должны выделить.

«Подумать только, – восхитилась Ильинична, – я и не смекнула бы туда стучаться».

– А может, через райсобес? – кумекал Игорь. – Мать, вам пенсию когда выдают? Слушай... идея! Мы выклянчим у них его пенсию на похороны. Он же ещё не получил, нет? А у него в заначке что-нибудь есть?

Ильинична поджала губы, как будто ей лично нанесли оскорбление:

– Заначка... Эти два жеребца у него всё выгребали. До последней копейки.

– Значит, на похороны покойный денег не оставил...

И он с удвоенной энергией принялся крутить диск телефона. Со злой весёлостью он делал скорбную работу, улаживая похоронные дела, которые, по всем статьям, должны б раскручивать те два сивых мерина, давно уже рассёдланных жизнью и позабывших про хомут и плетё. Ильиничне и в голову не приходило спросить его или хотя бы себя, чего это он так расстарался ради ненужного ему чужого дяди. Поди, у Игоря и дела неотложные есть, и верная жена-хозяйка ждёт не дожждётся дома, и сынок-обалдуй отцовского внимания требует. А Игорь в ответ тоже мог бы сказать ей кое-что по этому вопросу – мог бы, хотя едва ли стал бы говорить.

А Игорь звонил в собес, на почту, и яснее ясного, что отвечали ему женщины, потому что голос у него был небрежно вкрадчивым, и, глянь, как он, козлище, лыбится в трубку. Он им, бедным, эндокринку вывел из равновесия, это факт. Так, чего доброго, забеременеть можно по телефону.

Он ладонью прикрыл трубку и зашипел Ильиничне:

– Паспорт... где его паспорт? Бери и дуй на почту. Пенсию... они сегодня не успели принести ему на дом, – и в трубку: – Договорились, да? Нет, сам я прийти не могу. Нет, мне надо подписывать номер. В печать. И в свет. Нет, но мы должны встретиться. Когда? Давайте завтра...

И он отчаянно махал Ильиничне рукой: иди, мол, быстрее, иди!

– ...Ну хотите – сегодня. Когда? К восьми я свободен. Где? А где вам удобно?..

«Нет, но бабник. Да ещё какой!» – восхищённо думала Ильинична.

– Ну и как? Встретился? – спросила она его днём позже. Он непонимающе посмотрел на неё. – С почтарькой, говорю, встретился?

Он отмахнулся:

– Это детали. Деньги получила?

– Ну дак!

– Чего тебе ещё надо?

Вот Змей Горыныч, а? А он и бровью не повёл.

– Сколько у тебя там наличности? Значит, так – надо будет заплатить за гроб, за могилу. Потом: венки, полотенца... Они там сами скажут всё, что надо.

Он уже подключил к работе пропавших было с вечера борцов за трезвый образ жизни. Валерка с Валентином смотрели на Игоря, будто кролики на удава. Они присмирели при нём, как две окаянные грешные души, попавшие ещё при земной своей жизни в распоряжение Харона, и смотрели на него не то чтобы со страхом, но – оробело, готовые следовать любому его указанию. Они были до неприличия трезвы, и это забытое состояние было настолько пугающим, необычным, что выбило их из колеи, ошеломило куда больше, чем смерть отца.

Игорь подобрался рядом с ними, затаился в себе, готовый дать сокрушительный бой, потому что он шёл к этой встрече, искал её, чтобы прихватить врага в его же логове и уничтожить, если не физически, то морально. Он сразу же всё понял, но не поверил своему первому впечатлению, и вглядывался в их лица, вслушивался в их голоса и в ту белиберду, которую они молотили временами, с полной безответственностью используя данный им нашей щедрой природой совершеннейший аппарат человеческой речи и мысли.

С утра он отправился с ними на кладбище, чтоб заказать катафалк, купить гроб и столбить могилу. Денег было в обрез, он понимал, что надо ужиматься до предела, но и предел – кем установлен? Тут и гирлянда в гроб нужна, и венки на могилу, да с траурной лентой.

– От сыновей и жён, – диктовал Валентин, какая надпись должна быть на ленте.

– ...а также внуков, – подсказывал Валерий.

– Стоп! – одёргивал его Валентин. – Внук – один.

– А ты не мелочись! – лез в бутылку Валерий. – Перед тобой что? Вечность.

– ...и внуков, – похоронная девица записывала всё под копирку в свой поминальный реестр для оплаты. – Фронтовик? Орденские подушечки нужны?

– Естественно, – Валентин не хотел отступать от протокола.

– Сколько?

– Пять.

– А что ты положишь на них? – спросил Валерий брата. Видать, он с детства был пытлив и любознателен.

– Насколько я помню, наш батя был кавалером двух орденов и...

– Был, был кавалером, у тебя хорошая память.

- ...двух орденов и трёх медалей.
- Угу, он был кавалером, а ты был хмырём и с похмелья. И пропилил эти ордена.
- Как это – пропилил? Мы их вернули из ломбарда.
- А-а, теперь это называется ломбардом. Назови хоть институтом благородных девиц, но ты там пропилил всё. Кроме нательного креста. У тебя его просто не было.
- Это ложь! Я как христианин...
- Причём, истинный, Валюха, истинный христианин!
- Так берём подушечки? – спросил Игорь.
- А как же!
- Орденов-то нет.
- Но были!
- Послушайте, у нас каждый рубль на счету, – не выдержал Игорь. Они помолчали, осмысляя финансовую сторону мероприятия.
- Понял? – вздохнул Валентин, как старший брат. И сказал Валерию, как младшему брату: – У нас каждый рубль на счету. Ладно. Что там надо ещё?..

Всё это было похоже на неуместный в такой конторе и кощунственный бред. Но Игорь, как альпинист при восхождении, был в одной связке с двумя скорбящими сынами и должен был до конца соучаствовать в этом деле. И ради матери, которой была небезразлична судьба умершего старика, да и свой у Игоря был крест, своя голгофа, на которую он обречён подниматься в сообществе этих двух... страдальцев?

Он не успел проработать эту мысль, потому что увидел, что Валентин снова стал в позу, и даже Валерий, забыв ёрничанье, взял сторону брата и что-то доказывает девице, у которой похоронная фактура уже выросла до размеров небольшой простыни.

– ...только на старом, это всё же в городской черте. На новом пусть нас хоронят. Вы там бывали когда-нибудь? Мы согласны вместе с вами умереть. Нет, но – могила на троих, мы там откроем с вами новую аллею – умерших от неразделённой любви. Мы – вот он и я – вашу любовь разделить не сможем. Нет, вы согласны? К нашей с вами могиле будут идти влюблённые, чтобы клясться в вечной... Соглашайтесь. Это же так романтично.

Девица смотрела на них как на устаревшие экспонаты, подлежащие изъятию, и бесцветным голосом цитировала на память положение о подзахоронениях для таких вот строптивых:

- «...разрешается в исключительных случаях при наличии места рядом с могилой ближайшего родственника: жены, мужа, отца, матери, сына, дочери...» У вас тут близкие родственники есть?
- У нас тут близкий родственник – мать Мария. То есть жена покойного.
- Свидетельство о смерти, – девица не глядя протянула руку.
- Валентин повторил её жест в сторону Валерия, значительно обогатив интонацию фразы:
- Свидетельство о смерти.
- Чьё? – любопытствовал Валерий.
- Твоё! – отрезал Валентин. – Я сейчас сделаю всё, чтобы тебе его выдали.
- Зачем?
- Чтобы рядом с тобой устроить подзахоронение. Понял? Материно свидетельство о смерти.

Валерий, спохватившись, переадресовал жест Игорю:

– Свидетельство о смерти.

– Дурак, – сказал ему Валентин. А девице пояснил: – Свидетельства о смерти нет.

– Но есть могила, – опять возник Валерий.

– Нет, – девица была непреклонна. – Нужен документ.

– Минуту, – вклинился Игорь. Он был настолько заворожён абсурдностью ситуации, что на какое-то время выпустил её из-под контроля. – Вот – то, что вам нужно.

Он протянул ей сложенный вдвое бланк. Бумага имела казённый вид, была в волнистых жёлтых линиях, какими можно покрыть бланк лишь в спецтипографиях. Она напоминала ордер на возделенную жилплощадь – причём вечную жилплощадь, хотя... бывает, лет через двадцать и её могут оттяпать, вышвырнув и гроб, и упокоившиеся было кости. На свалку. Сам возразить не сможешь, потомкам будет недосуг, а властям край как понадобится занятое тобой место, чтобы вырыть котлован и возвести Дворец спорта или бракосочетаний, роддом, проектный институт – словом, вместилище знаний и радости, оно куда важнее потомкам, чем бесполезная твоя могила... Ещё бумага та напоминала пропуск из ОВИРа – причём туда, но – увы! – никак не обратно. Покойник нёс клеймо невозвращенца.

Да, так вот, Игорь протянул ей столь нужную бумагу и ещё успел мысленно восхититься: ай да мать! А он было упёрся, когда она сунула в карман ему эту справку: зачем, мол? А на всякий пожарный случай, сказала она. Но тут же у него чуть не отвисла челюсть. В единый промельк – или ему померещилось? – девица естественным, как дыхание, жестом смахнула в столешницу купюру, имевшую место быть в свидетельстве о смерти. Игорь ещё раз, уже потрясённо, подумал. ай да мать! Он понимал, что рискует, что купюра смехотворно мелкая и носит скорее символический характер, но кашу маслом не испортишь. И хотя девица в недоумении заглядывала внутрь жёлтого бланка, словно надеясь обнаружить там банкноту достоинством выше, и на её лице отобразилась сложная гамма чувств, и среди прочих эмоций была досада на самоё себя: чем пачкаться о такую-то мелочь, лучше было бы поднять шум и уличить во взяточничестве, слегка отреставрировав при этом свою репутацию. И дело тут не в жадности. Бедную девушку подвёл её высокий профессионализм. Она машинально смахнула купюру в столешницу, задний ход давать было поздно. И, досадуя на свою оплошность, она дотошно разглядывала свидетельство о смерти на имя Дудкиной Марии Фёдоровны, и ничего не стоило испортить им обедню: фамилии у покойных супругов были разными, и, чего доброго, они, прожив вместе всю жизнь, ухитрились не расписаться, так что отшить клиентов – дело техники. Но теперь уже она не хотела рисковать своим добрым именем. И лишь рукой махнула:

– Ладно! Чего уж с вас... возьмишь. Идите к заму – вторая дверь налево, пусть подпишет... Хотя, нет. Сначала мне заплатите за могилу, а то скоро обед.

И она, чтобы отделаться от промаха, авансом приняла у них плату и, не ожидая визы начальства, выписала квитанцию. Так что заму, который их принял, ничего другого не оставалось, как поставить свою закорючку на заявлении Богатырёвых.

– Копию квитанции – мне. И покажите, где мать похоронена. Чтобы к завтраму всё подготовить.

– Ну это – пара пустяков!..

– Вообще-то у меня сейчас обед, – сказал замначальника кладбища. – Но... как там у нас писали раньше в сообразительствах: «Обслужи клиента – на сто два процента».

- А что – это мысль, – встрепенулся Валерий. – Хоронить клиентуру в двуспальных гробах. Нет, но скифы могли устроить человека с комфортом...
- На том свете, – уточнил Валентин.
- Хотя бы и на том. Нет, но у тебя всё под рукой...
- В кургане.
- Да, да – в кургане. И снаряжение, и любимая жена, и любимая лошадь...
- Стоп! – Валентин мыслил конкретно. – У тебя она есть?
- Кто?
- Лошадь. Любимая.
- Зачем?
- Чтоб положить её рядом с тобой. В двуспальный гроб.
- Нет, но я... не настаиваю на лошади. Жена...
- Она у тебя есть?
- Нет, но ты спишь вечным сном, а рядом с тобой тоже вечным сном спит...
- Тёща!
- Валерий горестно покачал головой:
- Ты всё-таки бескрыло мыслишь, Валентин.
- Куда идти-то? – спросил замначальника.
- Ах, да!.. На том конце кладбища. Ну, знаете, в низинке. У бетонного забора. Под горой. Вот кто-то с горочки спустился. Там ещё две берёзки. И тополь. Серебристый.
- Пирамидальный, дура.
- Ну, я пока ещё могу отличить пирамидальный тополь от серебристого.
- Пирамидальный, говорю.
- Ай, да какая разница!
- Вообще-то я человек здесь новый, – сказал кладбищенский зам Игорю. – Второй день как заступил на должность.
- Повышение по службе?
- Немного есть, – скромно потупился зам. – Вообще-то вы у меня первые клиенты.
- Ну-у... поздравляю.
- А что, – охотно изменил ход своей неутраждающей мысли Валерий. – Работёнка непыльная, клиентура спокойная. Книгу жалоб никто не попросит.
- Не скажите.
- Что – просят? У них есть жалобы? А я-то думал, там – порядок.
- Там – не знаю, там ведомство не моё, – зам дал понять, что ему чужого не надо, тут своё бы хлёбово расхлебать. – Вот вы, к примеру. Где ваша могила?
- Моя? – Валерий остановился даже, с пугливостью оглядывая надгробия, которые их обступили. – А что – уже есть?
- При чём тут вы? – оскорбился сопровождающий зам и глянул в папочку, которую нёс при себе. – Могила Дудкиной Марии Фёдоровны – где? Мы уже минут десять следуем вдоль бетонного забора, а могилы вышеозначенной – нет.
- Но я не вижу серебристого тополя.
- Пирамидального, балда.
- Вот видите, а он – пирамидального. Куда вы их дели?
- Я? Вообще-то... Послушайте, я второй день здесь работаю. Не наводите тень на ясный день.
- Но вы лишили нас ориентиров! Там ещё была такая деревянная оградочка, голубой штакетничек...
- Очумел? Железная. Батя сменил деревянную через год.

– И крестик тоже деревянный, – гнул своё Валерий. – Как на погостах в старину.

– Чокнутый, – поставил диагноз Валентин. – Крест – железный. Деревянного там отродясь не было.

– Вот видите! Вы ставите перед нами непосильные задачи, – картинно развёл руками Валерий, как бы припирая к стенке вновь испечённого зама. Тот подавился контраргументами, не успев их сказать.

– Минуту, – Игорь сделал попытку остановить весь этот бред. – Она похоронена где-то здесь, так? Давайте поищем по надписям.

– Помилуй бог, какая надпись? Зачем? Даже у Толстого на могиле – вы обратили внимание? – ни слова. Мы знали этот скромный холмик, мы часто ходили сюда, чтобы в тиши и скорби помянуть...

– Ага, очень часто. Ты хоть раз тут бывал после похорон?

– Ну, говоря фигурально...

– Не фигурально, а в натуре.

– Минуту, – пытался остановить поток абсурда Игорь. – Она в каком году умерла?

– Вы не зубной техник, нет? – спросил вдруг Валерия заместитель начальника кладбища.

– Нет, а что? Вам тут нужны зубные техники?

– Я просто вспомнил одного знакомого. Он мог верхнюю челюсть поставить вместо нижней. И доказать, что так оно и было.

– Вы на что намекаете?

– А на то. Вы хотите воспользоваться чужой могилой. Только подходящую найти не можете, – подвёл черту под их поисками зам.

– Что вы сказали? – Валерий встал в позу.

– И хоть я вчера вступил в должность... – угрюмо бубнил зам начальника.

Валентин наливался багровостью.

– Если душа матери витает где-то рядом... – Валерий говорил и за себя и за брата.

– ...и хоть я вчера вступил в должность, но я не по уши деревянный.

Валентин стал сизым.

– И если душа матери бродит неподалёку...

Кулаки Валентина, Игорь физически чувствовал это, наливались нехорошей тяжестью.

– И если душа её в глубокой скорби стоит сейчас рядом... – Валерий тщательно отшлифовывал фразеологический оборот. «То пусть она подаст нам знак», – мысленно закруглил буксующую фразу Игорь. И прямо перед собой увидел ржавый покосившийся крест с проржавевшей железной пластинкой, прикрученной проволокой к центру креста, и на той пластинке белой масляной краской, уже пожелтевшей, в подтёках, явно детской рукой написано «Дудкина М. Ф.». Он ухватился за ржавый прут оградки и в суеверном страхе боялся выпустить его из рук, будто бы могила могла исчезнуть.

– И если душа матери... – не мог остановиться Валерий, а Валентин уже тянул свою лапу то ли к физиономии зама, то ли к его галстуку, чтобы намотать тот галстук на кулак, а замначальника в непримиримости пятился к своим подопечным могилам, и ясно было, как божий день, что дело идёт к мордобою, и если таковой произойдёт, то всю эту идею с подзахоронением придётся похоронить, и пока ещё не поздно остановить неизбежное, и сделать это должен он, Игорь. Достаточно сказать им: «Да прекратите вы лаяться!» – и указать счастливо найденную могилу,

но слова комом встали в горле, заклинило голосовые связки, и надо б кинуться между ними и попытаться их разнять, но Игорь всё так же мёртво держался за прут оградки, потому как стоит выпустить его из рук, и крест и надпись на нём рассыплются ржавой трухой, обратятся в фантом.

– Да перестаньте вы лаяться! – наконец-то прорезался голос. – Нашёл я, нашёл.

Зам уже дотянулся до ближайшего надгробия, упёрся в него спиной, готовый не уступить больше ни пяди, и Валентин уже дотянулся до его галстука.

– Ну перестаньте вы, ей-богу! Могила вот она.

Они как по команде глянули в его сторону.

– А что я говорил! – сказал Валерий.

– Ты говорил про душу матери. Что она витает, бродит и скорбит, – у Валентина тоже прорезался голос. – А скорбит она оттого, что через семь лет после похорон – через семь! – к ней явился её младшенький.

– Да, любимый и любящий сын.

– Он так её любит, так любит, что не имеет толком представления, где её могила.

Говоря всё это, Валентин тщательно поправлял на замначальнике галстук, а тот отряхивал спину, ликвидируя последствия слишком тесного соприкосновения с пыльным надгробием.

Теперь уж можно выпустить оградку из рук, решил Игорь. Материализация её произошла, обратный процесс едва ли возможен. Они все четверо стояли у оградки, глядя на неровные буквы надписи, на ржавый от забвения крест, на могилу, поросшую одичалым, свирепым от безлюдства бурьяном.

– Спасибо Валюсику. Он написал, – установил авторство надписи Валентин. – Лет пять назад. Вдруг, говорит, придёт сюда дядя Валера...

– Всё же мать была святой человек, – с чувством сказал Валерий.

А замначальника, всем своим видом показывая: не валяйте, мол, ваньку, – полез внутрь оградки, рискуя устрять в пыли, а заодно порвать пиджак и брюки. Он поколупал ногтём надпись, весь во власти сомнений.

– Это вы написали вчера, – сказал он, строго глядя на облупившуюся краску.

– Видит бог!.. – с пафосом начал Валерий, и Валентин опять стал наливаясь бычьей кровью.

– Да бросьте вы! – сказал Игорь всем троим и каждому в отдельности. – Надпись старая, сделана не вчера. И похоронена тут в самом деле жена покойного, а их вот – мать.

– А где мне делать подзахоронение? В оградке места нет, а за оградкой не положено, – зам ворчал, как Цербер на цепи, убедившийся, что дальше гавкать без толку. – Иду на явное нарушение инструкции.

И он повлёкся к своей погребальной конторе. Они шли следом, как живые неотступные сомнения.

Валерий пристроился к бетонному забору, чтобы оставить недолгий автограф и, философически глядя в спину кладбищенского начальника, вздохнул:

– И остался он с пустым корытом своего возмущения.

Но тут у него забрезжила новая мысль, и ей надо срочно дать осуществиться, иначе она улетучится без следа, оставив в душе пустоту и досаду. И на ходу застёгивая пуговицу, он кинулся догонять Валентина.

– Вот ты, Валюха, не стесняйся только, но, положи руку на соответствующее место, скажи честно: тебе нравятся портреты вождя?

– Мне нравятся портреты голых баб.

– Не, стой, я не о том. Я вот о чём: в тебе, как в потомственном крестьянине, живёт тоска по кайзеровскому кулаку? Не, но согласись...

- Пшёл на фиг!
- Не, но ты не обижайся. У тебя есть устои, на них никто не посягает...
- Где вы были вчера?
- Мы, Коля, сбрасывали усатый памятник на площадях.
- Нет, но где вы были вчера?..
- На площадях мы сбросили, но в душе твоей тот памятник стоит непоколебимо... не-по-ко-би-ли... Тьфу! Нерушимо.
- Это вы сегодня такие смелые. А где вы были вчера? Я всегда говорил: если бы не Сталин...
- Вчера... Где могли мы быть вчера? В эмиграции. Ты, Валюха, не обижайся, но мы, как дети застойного времени, вынуждены были уйти во внутреннюю, духовную эмиграцию.
- Вот! Сталин таких, как вы...
- И таких как вы!
- Ни фига! Я всегда был граждански активен.
- А я что говорю? Стоит тебе засосать полбутылки вермута...
- И на водку он цены снижал.
- О! Дай пять. При нём мы эту гадость, этот шмурдяк не пили бы.
- Но! Сталин думает за нас, понял?
- Понял, понял. Я вот что понять не могу. С батей всё ясно, он фронтовик, он с этим именем... усатым шёл в бой. Но ты – тебе-то зачем снимать пенки с дерьма?
- Вот как счас дам по морде!
- А других у тебя нет аргументов?..

На кладбище было пыльно и аккуратно. Деревья стояли в предосенней усталой листве. Надгробия были типовыми, трёх-четырёх модификаций, и каждое из них выглядело тщетной и запоздалой попыткой восполнить дефицит внимания, которого человеку так не хватало при жизни. Даже бурьян на могилах смотрелся как некий декорум. Особенно трогательны были могилы необжитые, месячной давности – в привядших бумажных венках, с осевшими глиняными холмиками. Видать, живые ещё не опомнились от горя, не собрались с силами, чтобы обустроить по-человечески вечное жильё новосёла.

Игорь шёл следом за братьями, прислушивался к разговору и к сумятице в своей душе, и с удивлением обнаруживал, что в нём гаснет ненависть к этим людям – ненависть, которую он лелеял столько дней, с которой даже сроднился, представляя, как он будет разделявать под орех не просто этих двух Богатырёвых, а всю их паразитскую философию, их паучье умение присосаться к чьей-нибудь жизни, приспособить её к потребностям своего мужского организма, подчинить, сделать донором и, пуская пыль в глаза, за дымовой завесой слов хмельеть от чужой, украденной радости: она растекается по твоим жилам и будоражит дремлющие инстинкты, толкая на мелкие пакости и безрассудства, которые могут придать нашему будничному существованию остроту, по возможности, не вступая при этом в противоречие с Гражданским и Уголовным кодексом. Один обнесчастил жену, лишив её радости материнства, другой вытоптал женщине душу – так вытоптал, что она уже не способна ни стать счастливой, ни дать кому-то счастье. А сына вырастил по своему образцу и подобию, тот сидит пауком по чужим дворам и уже прилаживается пить молодую неопытную кровь своих сверстников.

Но среди надгробий, завязанный с Богатырёвыми непривычными похоронными хлопотами, в живом непредсказуемом общении Игорь вдруг ощутил утечку пафоса и прочих шибко благородных чувств. И вместо взлелеянной ненависти с досадой

чувствовал, что ему доставляет удовольствие никчемушняя болтовня Богатырёвых: и ёрнические вопросы Валерия, и слишком уж прямолинейные – на зрителя, что ли, работает? – ответы Валентина.

А что, подумалось Игорю, яблоко от яблони... Валюсик, ясное дело, произрос от этих нечистых, речистых корней и с детских лет, поди, подвержен такому же словоблудию. И если меня, матёрого газетного волка, они сумели уболтать, заговорить мне клыки и зубы, так ведь щенка неопытного, вроде Пашки, ничего не стоит таким-то говорунам загипнотизировать, подчинить, увести в тёмный лес.

Зачем я следопытствую, лезу в чужую жизнь, когда в собственной полная смута? Ты что – собрался писать материал на моральную тему? Ну напишешь – и что? Это вернёт тебе Павлика? Или что-то изменит в судьбе этих двух? А-а, возвратит на путь праведный Валюсика! Откроет глаза Валентине... Господи, какая это муть несусветная. Стремись к ясности, но чем больше узнаёшь, тем больше смуты на душе. И растёт виноватость, и растёт ощущение несовершенства человеческой природы, тем более собственной, быть может, самой ненавистной и подлой, потому что чёрного кобеля, которого невзначай обнаружишь в самом себе, и не подумаешь отмывать добела. Как там сказали тебе однажды? Истоки своей придури ищешь не в себе – в других...

И всё-таки он с ними схлестнулся.

Он слушал их, и как ни благодушествовал, как ни адвокатировал им, но многодневное расследование по поводу Павлухиных синяков и досье, которое, сам того не желая, он собрал на этих двух застенчивых бандитов, общаясь с их бывшими жёнами, и жёлчь, обида, ненависть, которые скапливались в нём в недобрые дни и ночи последней недели – всё это не могло пройти бесследно. Он слушал их, и мало-помалу его одолевало дурное удушье, неодолимое, вроде приступа мигрени или почечной колики, и оттого унижительное, как физический недостаток. Он понимал его неуместность в контексте окружающих надгробий, неотложных кладбищенских дел, но это безудержное и циничное краснобайство пробило брешь в его долготерпении.

– Как это трогательно, – сказал Валерий. – Они снова лягут рядом. И главное: впервые не полаются при этом.

– Должны же они когда-нибудь найти общий язык, – в тон ему ответил Валентин.

И тут Игоря взорвало:

– Может, хватит?

– Чего? – не понял Валерий.

– Того. Хамить.

Братья озадаченно умолкли.

– Ты... не хами, – на всякий случай сказал Валентин Валерию. И поинтересовался у Игоря: – А кому он хамит?

– Да оба вы, оба! Непонятно, да? Хотя бы перед их памятью... –

«Не то я говорю, не то!»

– Уже хотя бы за то, что они дали вам жизнь...

«Чушь несусветная, ей-богу!»

Братья опять помолчали.

– Они тебе дали жизнь? – строго спросил Валентин Валерия. – Ну, что молчишь?

– Дали, дали.

– А ещё чего они тебе дали? Ты не скрывай – мы всё, всё про тебя знаем. Образование тебе дали?

- Ага, высшее. Собирались дать.
- Это неважно. Важна тенденция.
- Ну-у, если тенденция, – подхватил Валерий, – то ты у нас, милый, кандидат... в мастера... спорта.
- Да! А какого?
- Неважно. В конце концов, ты окончил спецшколу.
- Вообще-то спецколонию.
- Не-важ-но! Важно то, что родители дали нам настоящее воспитание. Жертвуя при этом сном своим и покоем.
- Да прекратите вы! – опять не выдержал Игорь.
- Нет, отчего же! – не согласился с ним Валерий. – Именно, жертвуя своим покоем, здоровьем...
- О! Они нам дали железное здоровье.
- Да. Гепатит, тонзиллит, неврит, панкреатит...
- Простатит, – подсказал Валентин.
- Не надо. Это я уже сам, без них.
- Но тебе как раз не хватало для полного джентльменского набора.
- Да, папаня говорил: у каждого мужчины с молодых ногтей должен быть малый джентльменский набор болячек.
- Не, но истинное воспитание...
- ...его видно сразу. Во всём. В одежде, например. Она должна быть добротной и скромной.
- Ага, ватник...
- ...но очень модного покроя!
- Брюки хэбэ...
- ...но в их простоте есть свой шарм.
- И кирзуха.
- Я бы назвал это иначе: сапоги а ля рюс. А, как вы считаете, Игорь Гаврилович? – лупал бесстыжими зенками Валерий. И гвоздил оппонента дальше: – Нет, но со вкусом у наших родителей было всё в порядке. А что касается еды, то здесь они придерживались спартанских установок.
- Жрать всегда было нечего, – констатировал Валентин.
- Ну, положим ты не совсем прав...
- Да, прав я, прав. Тебе что! Тебя в детдом забрали. Там одёжка была и кор-мёжка.
- Положим, тебя тоже забрали. В спец... школу.
- Умолкни, падло. Душу не трави.
- Да я, собственно, молчу. Это вот Игорь Гаврилович любопытствуют.
- Ну, хорошо, хорошо! – не мог одолеть раздражения Игорь. – Детдом, колония. Согласен. Тяжёлое детство. Но дальше-то, дальше – взрослая жизнь. И надо самому – понимаете? – самому... Вы хоть один поступок совершили? Скольких вы-то сами обнесчастливили...
- «Опять не то, не так! А как?»
- Кто он такой? – спросил Валентин Валерия. – Чего ему надо?
- Он за кого-то нас принял, – ответил Валерий. – Он думает, что про нас что-то знает, – и сам удивился. – Да? Вы про нас что-то знаете?
- Да уж... кое-что, – не удержался Игорь.
- Господи! Так поделитесь с нами. Мы хоть что-нибудь узнаем о себе.
- Но они уже дошли до конторы, и надо было получать гроб, венки, и стало не до выяснения отношений.

Они стояли у кладбищенских ворот, пытаясь выловить машину – не на себе же тащить гроб с венками. То есть машину вылавливал Игорь, Богатырёвы ему ассистировали.

– Всё же ты, Валюха, не фотогеничен, – как ни в чём ни бывало разглагольствовал Валерий. – От тебя шарахаются все шофёры. Не, но это я по старой дружбе говорю.

– Не верю.

– Почему? Факт налицо.

– Потому. Друг правды не скажет. Никогда. Запомни, братан: это привилегия врагов...

– Кошмар!..

– Да, привилегия врагов – сказать нам правду.

– Но ты, Валюха, так неразборчив во врагах.

Им всё же удалось заарканить автобус-коробочку.

– Всего червонец, – пыхтел Валерий, втаскивая крышку гроба в автобус, – и мы сумели доказать вот этому шофёру, что ты у нас похож на Бельмондо. Нет, но похож! Она же у тебя вся в шрамах – фотомордия то есть.

– Завидуешь?

– Восхищаюсь!

«Так, венки здесь, полотенце мы взяли. Что ещё? Орденские подушечки, траурные ленты. Всё, пожалуй...»

– Поехали, – скомандовал Игорь.

– В штатах каждому урагану дают женское имя, – не унимался Валерий. – У тебя тоже, Валюха, каждый шрам именной.

– Это как?

– Натурально. Этот, над бровью – Надежда, а? Нет? О, вспомнил – Инесса. Бутылкой двинула. А на щеке – это...

– Раечка укусила.

– Что делает ревность!.. А тут, на нижней губе, это кто-то посолидней...

– Апполинария. Петровна.

– Она-то чем тебя, раскрасавец ты мой?

– Табуреткой.

– Жуть! Это ж можно целую поэму написать.

Автобус занесло на повороте. Крышка гроба, обитая красным ситчиком, съехала набок.

– Вот и помер наш батя, – сказал Валерий.

Валентин поправил крышку гроба:

– Да-а, сыграл батя в ящик.

– Нет, – возразил Валерий. – Приказал долго жить.

– Тогда уж отмаялся.

И надо бы настроиться на серьёзный лад, но Валерий тут же махнул так это небрежно рученькой:

– А был покойничек великий жизнелюб.

VII

Конечно, это чистая случайность. Его жена и Валентина сидели рядом. Они друг друга не знали и знать не могли, но дело не в этом – было в них что-то неуловимо схожее: как две сестры, одна чуть старше, оттого серьёзнее, и отсвет жизненной усталости лежал на её руках, лице, на всей её фигуре; другая чуть моложе и оттого миловиднее и свежее, и нерастраченность, а точнее невостребованность жизнен-

ных сил – и это вопреки скорби – излучали её глаза, её плечи и то, как она чуть наклонила голову в прилежной и чуткой печали. А может быть оттого, что они были повязаны одинаковыми чёрными косынками, и выражение лиц тоже было одинаковым и вызывало эту пугающую схожесть. Он едва глянул на них, и сердце сжалось от тревоги и нежности: они обе ему были дороги, и он ощутил испуг, что одну из них может потерять.

Гроб со стариком Богатырёвым стоял в ближней комнате – не помещать же его в парилке с вениками, где нарисованный галечник и парящие на потолке космонавты. Женщины сидели на диване у гроба, а рядом с ними, тоже повязав голову чёрной косынкой, сидела Ильинична с лицом отрешённым и строгим, каким оно и должно быть у порога вечности – пусть не своего, но порога столь же неотвратимого, загадочного и грозного. О чём она думала? Поди, о том, что как только почувствует нелады, надо не мешкать, снять со сберкнижки деньги на собственные похороны. Тут вон как жались, и то влетает в копеечку, – это же помыслить страшно, во что нам обходится наша собственная смерть. Вот так вот помрёшь, похоронят, а потом лет пять рассчитываться.

Игорь полупоклоном поздоровался – разумеется, с Валентиной, но на всякий случай адресуя полупоклон матери и жене. Мать жестом приказала сесть напротив, и хотя из трёх женщин лишь Валентина могла знать об истинном положении дел, – но, судя по её невозмутимому виду, пока не знала, с кем рядом сидит, – он внутренне поёжился. Всё же созерцать их рядом даже в состоянии полного нейтралитета было как-то не по себе.

Ну вот, ну вот – только её здесь не хватало. В комнату, тоже повязанная чёрной косынкой, вошла Любовь Богатырёва. Она в суеверном молчании коснулась краешка гроба, внимательно глянула в лицо покойного и села рядом с Валентиной. Вот вам и третья сестра, нервно хохотнул он про себя, и неизвестно, в каких она отношениях с бывшей снохой, и как бы они не засветили его невзначай. Хотя... он тут же и постарался успокоиться: абсолютные тайны чреватые шумными разоблачениями, и если в самом деле что-то хочешь утаить, не делай этого слишком тщательно и явно.

Впрочем, тревога тут же эстафетой передалась Богатырёвой. Она никак не ожидала увидеть здесь злополучного журналиста, причём в роли, скажем так, ближайшего друга семьи покойного.

Господи, они и в самом деле, как три сестры... Может быть, в силу актёрской сущности Богатырёва мгновенно сумела вобрать в свой облик скорбь и усталость Игоревой жены и печальную, пожалуй, даже обречённую готовность Валентины – к чему? А ко всему. И к горю, и к радости. И, сверх того, ей удалось перенять у Ильиничны покорность неизбежному и придать этой покорности жёсткую силу, что-то вроде вызова судьбе. Нет, но – натура, восхитился Игорь. Если б влип сюда, ох и погорел бы, ох и погорел, это тебе не Валентина.

Он изо всех сил удерживал себя, чтобы поминутно не смотреть в ту сторону, не ловить своими жадными глазами тихий Валин взгляд, растерянный и сожалеющий. Он так хотел ненавидеть её и её же во всём обвинять. В том, что его жгли тоска и желание быть с нею рядом, одаривать своими страшными, даже грубыми ласками и чувствовать в ответ, как вся она смиреет от его прикосновений и слов, тянется к нему губами, глазами, плотью, душой. Она была нужна ему. Он жить без неё не мог... Но ему нужны были и жена с сыном, без них он тоже не мог представить своей жизни. Ему нужны были они все трое... Что касается сына, с ним полная ясность, но этим двум – каждой из них он нужен был один, безраздельный, каждая из них не хотела делить его ни с кем.

И он не мог не защитить Павлуху, и он не мог не наказать Валюсика. И тогда, вломившись в дом Валентины, чтобы вывести на чистую воду этого недоноска, он хотел расставить все точки над «и». То есть выводить на чистую воду ему никого не пришлось, Валюсик ничего не скрывал и скрывать не пытался. А вот точку над «и» поставил не он, не Игорь, – Валюсик её поставил.

Он дал возможность Игорю поупражняться в красноречии, которое привело Валентину в шоковое состояние. Она, округлив глаза, смотрела на сына.

– Этого не может быть, – говорила она громким шёпотом. – Валюсик, скажи ему, что это неправда.

И чтобы одолеть горечь во рту, Игорь машинально достал из кармана пиджака пакетик аптечных мятных леденцов, зубами надорвал неподатливый целлофан, бросил на язык горошину шершавой, обжигающей нёбо карамели.

– Он неправ? – допытывалась она у сына.

Игорь поморщился и вынужден был дополнить свою проповедь кое-какими фактами уже для Валентины. Валюсик молча слушал дядю.

– Да не молчи же ты, не молчи!

Валентина бессильно ударилась кулаками в сыновье плечо. Игорь нервно зашуршал целлофаном, извлекая новую карамельку.

– Не по теме шуршишь, мешок целлофановый, – сказал Валюсик. Игорь непроизвольно проглотил шершавую ледышку мяты. – Тебе нужен не я. Она тебе нужна.

– Ты что... сказал? – у Валентины был такой вид, будто на неё рухнула кровля. – Повтори, что ты сказал?

Игорь трясущейся рукой и всё так же шурша целлофаном, зачем-то стал отсыпать на ладонь карамельки. Его пронзила мысль, что вся их конспирация уже давно полетела к чёртовой матери, и этот отрок-правдолюбец, конечно же, размазал историю их взаимоотношений с Валентиной Пашке, причём размазал в убедительных и наглядных подробностях. И я хорош после этого, когда становлюсь в позу и перед Павлом качаю права. Вот так вот: не по теме шуршишь, мешок целлофановый.

Валюсик что-то ещё сказал вдогонку «мешку целлофановому» – они с Валентиной настолько были потрясены тем, что их, можно сказать, накрыли, причём давно и публично, что и не расслышали тогда, что же он вворачивал им дальше.

– Да знаю я, знаю. Я мешаю вам. Ну потерпите. Мне скоро в армию.

Он говорил не с ненавистью и даже не зло. Он говорил снисходительно и с презрением.

То есть не исключено, что он поделился своими открытиями с отцом родным. Игоря коробила сама мысль о том, что этот забулдыга посвящён в святая святых его, Игоревой, жизни.

И сейчас, видя, как жена доверительно переговаривается о чём-то с Валентиной и Богатырёвой, он ощутил нехорошее беспокойство. Какие у них могут быть общие разговоры – что, кроме ненужных пересудов, может объединять этих столь разных женщин?..

В прихожей возникло движение. Шурша опарафиненными соцветиями венка, в комнату протиснулся багроволикий человек. Вопреки седине, он страдал избытком здоровья и веса. К его лицу была припечатана официальная скорбь. Понятно, бывший сослуживец. Ага, уже одиннадцать, а катафалк заказан на двенадцать.

– Значит, как договаривались? – спросил Игорь. – Автобус, оградка, надгробие?

Тот послушливо кивал головой.

– И духовой оркестр, – добавил он, осторожно расходуя голос. Не потому что ему было жаль своих лёгких, а потому что голос был так низок и густ, что от него

дребезжали в окнах стекла, и соседский кот, по дурости сюда забредший и задремавший было в прихожей, вздрогнул, будто его шибануло током, вжался в половицы и, дико глянув отчего-то в потолок, метнулся вон из квартиры. Пришедший, всё так же дозируя звуки, хотел было приступить к официальной части своего визита: – Примите мои искренние...

– Это – туда, – указал ему Игорь в сторону кухни, где осиротевшие братья, уже остограммившись, уже захорошев, смекали, как дожить до поминок. Им бы надо повременить с этим делом.

– Отведёте душу после похорон.

Они вроде бы согласились:

– Само собой. Отведём под белы ручки.

Но, во-первых, какое же это надо иметь терпение, когда ты с утра пораньше привык молиться на бутылку. А во-вторых, трезвые, если такое случалось, они были дурные, угроза скандала и драки была подобна угрозе пожара в великую сушь. Мать, наверно, права: «Они пока не напьются, ты их не уймёшь». Так что он и не способствовал им, но и не мешал осуществляться.

Явился Валюсик – в Павлухиной куртке, в тёмных очках, он их тоже содрал с чьей-то морды. И если Игорь сумел наступить себе на хвост, чтобы не возникали лишние нервные взаимоотношения, то Валюсик смотрел на Игоря, будто козёл на мясника, готовый, если тот начнёт возникать, бодаться насмерть.

– О, гляди! – сказал Валентин Валерию. – Мать у него хоть и шалава, но парня одевает классно.

– Он уже сам себя может одеть, – не смог удержаться от комментария Игорь. – У него это неплохо получается.

– Да? Сам что ли шьёт?

– Ещё как!

– Надо его попросить. Пусть он мне соорудит куртку.

– Ну-у, плёвое дело.

– А материал – ты об этом подумал? – попридержал его было Валерий.

– Это лишнее. Вы ему образец укажите. Он копию снимет. Точь-в-точь.

– О! Ты вот ему, писателю, нашу задачу подсунь, – по чисто пьяной логике предложил Валентин.

– Жалко его. Надсадится.

– А ты не жалеи! Ты дай работу ему, дай. Пусть подумает. На то он и писатель, чтобы головой работать.

– А, глупости всё это...

– Ни-че-го ты не понимаешь. Значит, слушай сюда. Вот он был на свадьбе – вот этот фраер. Позавчера. А меня не позвал.

– Я сам был не очень званный.

– А ты молчи, когда умные люди разговаривают. Так вот – невеста. У её матери мать была корейка...

– Корейка.

– Молчи. А отец – немец. Понял? А у отца невесты мать полячка.

– Полька.

– Молчи, говорю! А отец – ха-ха-сец. Теперь – жених. У него отец грек, а мать...

– Шведка, – подсказал Игорь.

Валентин пьяно сузил глаза:

– Он знает, – сказал он Валерию, как бы уличая Игоря в чём-то.

– Ничего я не знаю, – усмехнулся Игорь. – Но это же вполне типичный брак.

– Типичный, – согласился Валентин. – Но ты мне скажи: кто будут ихние дети?

– Как это – кто? От воспитания зависит.

– Я не об этом. По национальности – кто?

Да, жизнь научит сквозь слёзы смеяться.

– Ну, парни, с вами не соскучишься.

– Ага, слабо! – торжествовал Валентин. – И этот тоже. Который с отцовской работы. У него ещё голос, как из унитаза – аж стёкла дрожат.

– Бас-профундо, – вспомнил, как называется тот голос, Игорь.

– Во, во! Хоть и профундо, а кишка тонка.

Нет, но они прелесть, а? В доме нарастает гнетущее напряжение, которое предшествует выносу покойника, а они очень кстати разгадывают генетический ребус. Они в тот день восхитят его ещё не раз. И тем, что в момент весьма и весьма подходящий всё же решат этот ребус, и тем, как подведут черту под мероприятием с похоронами. Игорь крепко запомнит итоговую фразу, которую скажет Валентин во время поминок – тех самых поминок, соорудить которые было по силам одной лишь Ильиничне: она проявила чудеса изобретательности и дипломатии, мобилизовав на это дело чуть ли не весь дом.

– А что, – скажет Валентин на полном серьёзе. – Хорошо мы батю похоронили. По-людски.

– Ну! Он так не жил, как его хоронили. Тебя хоронить так не будут. Тебя так похоронят, что никто не узнает, где могилка твоя.

– Не, скажи: он в обиде?

– Мы с тобой, – пододъёт бабки Валерий, – сделали всё, что могли...

И ещё: Игорь старался не смотреть на Валюсика, чтоб не сорваться, чтоб не значай не сделать какого-нибудь выпада, но боль за Пашку была так сильна, так неотступна, что стоило забыть, ослабить контроль над собой, и обида красной пеленой застила глаза, застила белый свет. Но в конце концов, в конце концов! Ты и старше его, и мудрее, и великодушнее, урезонивал себя Игорь. И весь день у него прошёл в уговаривании самого себя... До той минуты на кладбище, когда все вдруг разом отошли от обновлённой могилы Марии Дудкиной-Богатырёвой со свежевыкрашенной пирамидкой, что появилась рядом со ржавым крестом. Народ, изнурённый похоронами, с чувством облегчения, что всё позади, потянулся к автобусу, как бы отрекаясь от покойного, отдавая его безраздельно в распоряжение безжалостной и равнодушной вечности – в полной уверенности, что здесь, под ворохом земли, его уже никто не потревожит, не обидит. И лишь Валюсик в Павлухиной куртке остался на могиле. Он держался рукой за бабушкин крест, руки и щёки Валюсика были запачканы, и плечи его сотрясались от плача, которым сам он был, видать, напуган, но со слезами справиться не мог, его трясло, будто он попал под напряжение и не в состоянии вырваться из тисков сокрушительной адовой силы, и кто-то же должен его оторвать от креста, обесточить, не то испепелят парнишку, убьют запредельные токи горя, с которым, судя по всему, он вступил в такой близкий контакт впервые.

Игорь, его угораздило идти последним, вернулся, протянул было руки к плечам Валюсика, но тут же и отдёрнул их, будто его и в самом деле долбануло током, руки осушило так, что он и день спустя нет-нет, а и морщился от дальних отголосков боли. Но тут он, стиснув зубы, оторвал парнишку от креста, насильно развернул лицом к себе, тот упал ему на плечо, и обнял его, и, как смертельно перепуганный ребёнок, вцепился в дядин пиджак и не выпускал, пока не оттрепало горе и не схлынули слёзы. А Игорь гладил его по щуплой сиротской спине и утешал, как маленького.

– Ну, ну, не надо. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо...

И он уже не мог, как прежде, ненавидеть этого парня. Хуже того, предательски шевельнулось живое отцовское чувство. Жалости, строгости. Нежности, про которую Валюсик в жизни своей, наверно, и не знал.

Но это после похорон. А сейчас Игорь стоял на кухне и с высоты третьего этажа выглядывал в окно: прибыл катафалк или нет? И не вдруг понял: чего это у подъезда стоят толпами люди и очень терпеливо ждут.

Ильинична тоже глянула в окно и заробела. Народу-то, народу!.. И Манечка подруга, если б глянула на похороны мужа, не осудила бы оставшихся в живых. Ильинична, как старая женщина и коммунистка с партстажем, понимала, что неспроста всё идет и идут к гробу и с утра толпятся у подъезда. Люди жизнь провели бок о бок, и когда один из них помер, то все повыбирались из своих закутков, чтобы отдать дань уважения покойному, а заодно и собственному многотрудному житью-бытью, неизбежным свидетелем и соучастником которого был этот усмирённый смертью человек. Ведь сообща одной коммуной, одним баракком холодали, голодали, в четыре года выполняли пятилетки, все как один подписывались на заём, преодолевали болезни и войны, всем миром любили вождя и с пролетарской прямоотой ненавидели врагов, которых он разоблачал. А когда разоблачили вождя, старались тоже всем миром избавиться от срамной неразумной любви к нему и от холуйской ненависти к его врагам, которые и не враги, а жертвы, и которым сам вождь – и как вождь, и как человек – не годился в подмётки...

Дом провожал в последний путь не просто старика Богатырёва. Дом хоронил своё прошлое, свою давнюю молодость – нахальную, наивную, святую, бедную молодость, она случилась в костоломные и безгрешные времена, но вопреки суровому климату эпохи сумела – пусть в сжатые сроки, но буйно отцвести, чтобы в новую жизнь перелить своё нетерпение, горячую кровь, своё неопытное безрассудство и хотя бы на генном уровне передать как эстафету все прочие достоинства и недостатки, какие могут востребовать грядущие и тоже, поди, небезобидные эпохи.

Приехал катафалк, надо было выносить гроб, но все отчего-то смотрели на Игоря и ждали от него распоряжений. Никто ничего не знал, никто ничего не умел. И когда он спрашивал, как надо делать, никто ему толком ничего объяснить не мог, у всех поотшибало память. Все спрашивали у него, и он ловил на себе испуганные благостные взгляды, будто он был неким жрецом, который изобрёл весь этот погребальный ритуал и теперь неукоснительно следит за его выполнением.

Виноват, наверно, он сам. Пустяк он всё на самотёк, оно шло бы себе, как бог на душу положит, и пришло бы само собой к неизбежному финалу. Но из-за никчёмности Валентина с Валерием он вынужден был взять ситуацию под контроль и невольно задавал вопросы, всё ли идёт как надо, а это сбивало людей с толку, они начинали робеть и сомневаться.

– Не, но кто будут ихние дети? – слышал он голос Валентина.

– Там катафалк пришёл, – ответил ему Валерий.

– Подождёт.

Поколебавшись, что нести раньше, венки или награды, Игорь подтолкнул к двери Валюсика с орденой подушечкой на ладони, рассудив, что внуки по праву должны нести боевые награды дедов. Но внуки были в дефиците. В растерянности оглянувшись, он увидел Павлуху с фонарём под глазом. Сойдёт за внука. И вручив ему две медали на вишнёвой бархатной подушечке, он и сына подтолкнул к двери.

Дальше двинулись женщины с венками. Бас-профундо хотел было взяться за крышку гроба – нести её впереди покойного, но Игорь придержал его для более ответственной и трудной операции. Предстояло спустить по трём этажам лестничного марша гроб с телом покойного.

На улице взревел оркестр Шопеном. Игорь поморщился. Не столько от тяжести гроба, сколько от похоронного марша. Это всегда его за душу брало и ниже, до самых ног.

На поворотах гроб проходил с трудом, его надо было накренять слегка набок. При этом казалось, что старик Богатырёв опасливо трясёт головой, боясь выпасть из гроба. Бас-профундо шумно дышал впереди, основная тяжесть приходилась на него, и у него был такой вид, будто он берёт самую низкую ноту и очень осторожноничает при этом, чтобы не рухнул лестничный марш. Вот интересно, какую цель преследовала природа, одаривая человека этакой иерихонской трубой, таким голосиной, который в нормальном людском обиходе и не употребишь? Нет, но он расходует свои децибелы с недопустимо низким КПД, его надо и в нашей похоронной ситуации использовать по назначению, думал Игорь. Но как?..

Да-а, крепко они засадили меня в своём огороде, подумал он. Хотя... Они-то при чём? Ты сам себя засадил в их огород. Тебя что – заставляли вести это расследование? А похороны – зачем они тебе? Или ты по обязательке здесь, как этот бас-профундо? И, глядя на жену, на Валентину, на Валюсика, на Павлуху, он вдруг ощутил, что неспроста здесь, что всё в его жизни сдвинулось с привычных узаконенных мест и уже не вернётся в накатанную колею – и на работе, и дома. Он не знал, как будет, но знал, что будет иначе. Жить по-старому – так, как жил до этого, он не сможет, не захочет. Не сумеет.

И после, когда гроб задвинули в катафалк и сюда же чуть ли не силком удалось впихнуть Валентина с Валерием, потому как их повело совсем уже незнамо в какую сторону, Игорь, глядя, как в автобус взбирается тот, с бездной голоса, а автобус при этом поскрипывает и опасливо кренится под стопой багроволикого сослуживца усопшего, понял, наконец, что надо будет сказать у могилы надгробную речь, и уже знал, кто её скажет.

Автобус медленно, стесняясь доступных ему скоростей, отчалил от подъезда, выехал из того ограниченного пятиэтажками пространства, которое называется двором, и какое-то время, соблюдая приличия, не спеша ехал по узенькой улочке – она, будто сосуд кровеносный, соединяла микрорайон с ведущей транспортной артерией, где бушевали вихри скоростей, где даже катафалку было не до приличий. Вырулив на трассу, автобус лихо, с ветерком помчал на кладбище. Лицо покойного содрогалось от быстрого движения, и Валентина, наклонившись над ним, поправила у него под головой подушечку. От этого простого человеческого жеста у Игоря перехватило горло, и совсем не уместные слёзы подступили к глазам. Он вспомнил, что в эти три дня в изголовье у Богатырёва горела тонкая восковая свеча. Значит, мать была в церкви, была крадучись, потому что она коммунистка, и в церковь ей заглядывать как бы не к лицу.

А тебе – к лицу? Но у меня были на то объективные причины, возразил он сам себе, человек меня просил, человек издалека, там за сотни вёрст ни одной церквушки...

На лесной кордон вынесло Игоря случайно. Ну да, у газика мотор перегрелся. Или мотор перегрелся у шофёра. А что – обалдел человек от кружения вдоль и поперёк полей и весей. Газик вильнул чуть в сторону от дороги, чхнул два-три раза, бормотнул мотором что-то своё, машинное и приткнулся к берёзовой рошце – она млела, погружаясь в полуденный зной. В кабину пахло не пылью, не вонью

перегретого асфальта, а запахом свежескошенной травы, дурманящим ароматом бог весть каких, но очень диких и очень пахучих цветов, от которых пчела теряет в самозабвении голову.

Газик уже по инерции тряхнуло на месте, до самой рамы его как бы пробрал озноб и, очень уж по-человечьи всхрапнув, он задремал, слегка завалившись на левое заднее.

– И какой русский не любит быстрой езды? – задумчиво сказал шофёр, выбрался из кабины, поднял капот машины, почмокал губами и, оставив капот открытым, там же и лёг на травку, глядя сквозь берёзовые пряди в бездонную глубину прозрачного летнего неба.

Игорь тоже вышел из машины, размял затёкшие ноги, погружаясь в звуки и запахи спелого лета. В берёзовом сумраке опасно тенькала невидимая птица, а у Игорева ног гудел шмель, пытаясь оседлать невзрачный цветок подорожника, отчего тот гнулся до земли, и это крайне раздражало шмеля. Где-то рядом косили траву. Трава была густой, коса вжикала сыто, как бы срезая не стебли травы, а некую цельную массу, упругую и сочную. Игорь пошёл на этот звук и тотчас же увидел косца: тот работал ухватисто, споро, но при всём при том была в его движениях какая-то корявость. Не то он горбат, не то однорук, – хотя обе руки при нём, и горб лишь почудился, оттого что голова косца повязана старушечьим платком и оттого что он сутулится от напряжения, которое вкладывает в каждый взмах косы. Но взмах косы пластал травостой ровным полукружьем, и было видно, что человек умело делает привычную работу.

«Да это же... старуха косит!» – подумал Игорь, что сразу объяснило ту странность впечатления, которое производил человек с косой в руках. Старуха вызывала оторопь, тревогу и жалость. Он смотрел на неё, не в силах отвести взгляд. И она, видать, почуяла постороннего человека, а может, выбилась вконец из сил и вынуждена была прервать работу. Вжиканье косы прервалось. Старуха пучком травы обтёрла лезвие, оперлась руками на косу и тоже стала рассматривать незнакомого человека.

– Бог в помощь, – сказал он ей.

– Спасибо, – ответила она и, очевидно, приняв фотоаппарат за магнитофон, спросила: – Тоже за песнями?

Он, конечно, знал, что воспевает труд хлеборобов, но назвать свои кондовые репортажи песнями ему и в голову не пришло:

– Ну что вы!.. Какие уж тут песни.

– А то надясь студенты прилипли ко мне: вы частушки, мол, знаете? Да кто ж их, милые, не знает! И пела я им, и плясала, как Русланова.

Потом она раскладывала на платке свои харчи: помидоры, огурчики, хлеб-соль да вода родниковая в бутылке из-под «Золотого кольца». На старухе были ветхие джинсы, заправленные в кирзовые сапоги.

– Сыновья донашиваю, – говорила она. – Не пропадать же добру. Жизнь-то, видишь, какая: и с хворью, и с болью. Сынок у меня год как помер. Жили мы с ним, не тужили. Коровёнка, лошадёнка, кабанчик да куры. Лесничим он был. А как помер, они ширь-пырь, а сюда никого калачом не заманишь. Они ко мне: «Вы уж, Настасья Дмитривна, не бросайте кордон. За сына, мол, поисполняйте обязанности». А у сына, милый, ни жены, ни детей. Они, конечно, и дети были, и жена была. Была, да сплыла, у нас на кордоне жить не схотела. Вы, говорит, тут как бирюки в щель забились и хотите, чтобы я вашей бирючьей жизнью жила. Он ко мне: что делать, мама? Не везло ему с жёнами. Первая была колода – всё спала, проснуться не могла. А эта, видишь ты, змея подколодная. Страшенькая да ещё с

характером. Вы говорит, у меня лучшие годы украли. Ну, правда, избянных баталий не было, миром разошлись. А через год он помер. Вот я и кукую на старости лет. Ладно, силы пока ещё есть, любую чёрную работу могу сделать белой.

Ей и поговорить-то не с кем, думал он, кивая головой в такт её словам.

– А ты не жалея меня, милый. Я на жизнь не в обиде. Беда она не знает ни правых, ни виноватых, ни выходных, ни отпусков. Всё в жизни плохо – сама жизнь хороша.

Вот она – судьба человеческая, думал он, вот что писать надо, а не твои барабанные сводки. И помидорчик с хлебушком комом встали у него в горле, оттого что представил он одиночество этой женщины в мире людей. Но вот ведь: она не проживёт без этих рощиц берёзовых, а им не прожить без неё.

– Песни-то я им пропела, и сплясать – сплясала, а просьбу свою позабыла сказать. В церкви свечку надо поставить. Сыну – за упокой. Сама не доберусь. А ты в городе будешь, Христом Богом молю, зайдя в церковь.

– Да-да! – поспешно согласился он. – Конечно.

Она в сомнении посмотрела на него: «Забудешь». И расстегнула булавку на кофте, вытащила из-за пазухи свои сбережения. Зубами развязала носовой платок, достала рубль.

– Возьми и положи с документами. Во-от, теперь не забудешь.

Он тот рубль потом, как уголёк горячий, из кармана в карман перебрасывал. И в церковь всё же зашёл. Причём в момент до крайности неподходящий – по пути из театра в милицию, когда в душе был разор, учинённый избиением Павлухи. Весь в пасмурных чувствах шёл он по улице и сунул было руку в верхний кармашек пиджака, чтобы проверить, не забыл ли проездной билет, потому как впереди маячила автобусная остановка, и рядом с билетом нащупал пожужканную бумажонку, потянул её глянуть и выбросить, как устарелый бумажный хлам, ну и в лицо, что говорится, узнал тот бабушкин поминальный рублик. И тут же увидел церковную маковку, осенённую ажурным крестом. И хоть было не до того, впору хоть панихиду заказывай по своей погибающей, а может, и погибшей семейной жизни, но и рубль тот, как неотступный знак укора, носить дольше не имело смысла.

Он пересёк пустое пространство чистого церковного двора, и, когда стал подниматься по каменным ступеням, непонятная робость овладела им. Двери были открыты настежь. С паперти виднелся мерцающий в глубине иконостас, трепетными островками горели как бы парящие в воздухе скопления свечей.

Церковь была полупустой, хотя шла служба. Он взял самую большую свечу и наугад поставил её у ближайшей иконы, где горело много свечей, и очень боялся, что она не устоит, упадёт. Но свеча устояла, язык пламени был высоким и ровным. Он глядел на него и думал не об умершем лесничем, которого не знал, а думал о старушке, о том добром негасимом свете, что живёт в её душе. Он думал о сыне, которому изо всех сил хотел помочь, но не знал, как это сделать. Господи, думал он, что же я так мало внимания уделяю ему? Павлуха, Павлуха! Что ж это происходит в нашей жизни? Почему не можем мы с тобой пробиться друг к другу, не можем услышать друг друга и понять?

Он не знал службы и не понимал её значения, но хор пел очень красиво. Игорь смотрел на огромный, с любовью выписанный портрет Бога и его сына Христа, и поверх осиянных голов парил голубь – ах, да, это же Святой Дух! И та робость, с которой он вошёл сюда, помогла ему как бы отринуть от себя всё суетное, мелкое и сосредоточиться на главном, что не давало ему покоя. Ведь и у Бога были в своё время проблемы с сыном, не могли не быть – экзамен Он ему устроил суровый.

тоже с кровью и болью. Это сейчас мы видим на картине благополучный результат, экзамен выдержан с честью. Господи, подумал Игорь, глядя на бородатого старца, как же ты решился на такое испытание для родного сына и какую же ты при этом, должно быть, испытывал боль...

Игорь взял ещё одну свечу, пристроил её рядом с первой. Пойми и ты меня, Господи, думал он, глядя старцу в глаза, свои житейские проблемы я должен решать сам, тут мне никто не помощник. Но кто бы подсказал, как их решить? Чему учить детей своих? Что им завещать, что оставить? Дачу, машину и прочую недвижимость, ежели ею удалось обзавестись? Но ох как сомневаюсь я, Господи, что это придаст жизни большую ясность и более высокий смысл! А главное – не верю я, что это сделает человека счастливым... Интересно, думал он в то же самое время, хор здесь поёт живую или записан на магнитофонную ленту? Уж больно хорошие голоса. Если на магнитофон, то это кощунство, а если живую, то отчего их не видно, хористов, – где они прячутся?.. И потом, вся эта недвижимость – тлен и прах, в наш ядерный век другие ценности должны быть в ходу. Какие? Нам с детства вдолбили упоительный кодекс нравственности, нам ставили в пример великие образцы. И выпускали в жизнь восторженными дураками. И жизнь нас переучивала спешно, потому что в жизни сплошь – двойная бухгалтерия, в жизни – зубы отдельно, слова отдельно. Какая же гнусь, о Господи! Так неужели же я должен учить своего сына двойной бухгалтерии? Стоило ли тогда Сыну Твоему, о Господи, переносить те муки, которые Он перенёс?..

Священник речитативом выговаривал слова молитвы, и невидимый хор красивыми голосами подхватывал их и пел, мелодия была простой, но незнакомой. Игорь подумал: доведись ему писать репортаж об этом богослужении, он и не знал бы, с какого края к нему подступаться. Надо бы, конечно, и Библию полистать, и батюшку проинтервьюировать: на какую тему богослужение, в чём его сверхзадача и смысл? Что надо внушить прихожанам, на что их сподвигнуть?.. Тоже – идеологический фронт.

Но среди этих суетных и даже циничных мыслей он суеверно следил, не погасла ли свечка, которую он поставил во имя Павлухи, но свечка, слава Богу, светила хоть и коротким пламечком, но не хилым и не выказывала тенденции погаснуть.

В глубине алтаря вспыхнуло сияние, и осветился бывший в полумраке большой портрет Иисуса, хор ликующе возвысил голоса, и распахнулись царские врата, из них вышел в золочёных одеждах священник. Этот всплеск ликования длился не долго, свет в алтаре померк. И он вдруг увидел, что пожилая служительница, она следила, чтобы свечи не падали, не гасли, но и не догорали напрочь, огарки она рачительно прибирала в сторонку, – так вот, служительница эта принялась гасить свечи, она гасила их пальцами. Обмакнёт пальцы в воду и гасит, и гасит.

– Зачем это вы? – всполошился он.

– Псалмы. Их надо читать в темноте. Да вы не тревожьтесь, я их снова зажгу.

Он опять, как в музее. Осмотрел иконы, картину Страшного суда, которая его ну никак не пугала. И с сожалением подумал, что душа его не отзывается на молитвы и пение. Всё же идея Бога много шире и серьёзнее этих конкретных её проявлений, думал он. Хотя надо учесть, что церкви ставят в местах далеко не случайных, есть такие точки на поверхности земли, где силовые линии планеты, наверное, оптимально способствуют раскрепощению человеческой души. И если место выбрано неверно, храму тому не стоять, и не потому что строители схалтурят, как это бывает у нас. Нет, и кирпича пойдёт столько, сколько надо, и цемент будет нужной марки, и даже яйца, на которых замешивается раствор, красть не будут. Но вопреки своей крепости рухнет храм или сгорит, если не там, где следует, поставлен. Мне бы в море

страстей человеческих найти оптимальную точку, где можно было бы и устоять, и обрести хоть минутную ясность, и не утратить дорогих мне людей...

Автобус уже подъезжал к кладбищу, когда с Валентином случилось непонятное. Он хлопнул себя по лбу – мол, эврика! – и хохотнул в удивлении. Потом ещё раз и ещё, у него начался приступ смеха, и от хохота у него на глазах выступили слёзы. Ну вот, только истерики нам не хватало, подумал Игорьь.

– Валерьянки. Быстро! – приказала Богатырёва. Она знала, при перенапряге такие срывы бывают. И не только у актёров.

– Чёрта ему лысого, а не валерьянки, – сказал Валерий. Он с интересом, но и с тревогой смотрел на брата. – Не надорвись со смеху, а то... – он кивнул на гроб, – вот его рассмешишь.

– Бразильцы... – молвил наконец Валентин, ладонью смахивая слёзы. – Я говорю: ихние дети будут бразильцы. Понимэ?

– Не понимэ, – неожиданно для самого себя сказал Игорьь.

– Поясняю. Вот он был на свадьбе. Позавчера. А меня не позвал. Так вот – невеста. У её матери...

– Ну ты... даёшь! – восхитился Валерий. – Нет, но ещё мать готова была поставить тебя на божницу: математический склад ума! Ах, я должна была назвать его Альбертом! Она очень жалела, что не назвала. Тогда уж лучше Исааком, батя любил давать ей советы. А ещё лучше скромно так, по-нашенски, по-современному – Эвклид. А? И псевдоним – Александрийский.

Валерий обвёл глазами автобус:

– А вы говорите – нервы...

VIII

Пробраться к нужной могиле среди давно обжитых захоронений было непросто. Тем более неся покойника в открытом гробу, а перед ним – крышку гроба, венки, протискиваясь между оградками, стараясь не наступать на забытые живыми, бесхозные всхолмия, уже без крестов и пирамидок, в одичавших плетнях барвинка: его блестящие кожистые листья словно бы тоже покрыты налётом парафина, цепляются за ноги и шуршат, как неживые.

Места для подзахоронения оказалось действительно маловато, сразу видно, вырыть яму нужной ширины было непросто. Оградку убрали, она лежала в стороне рядом с ворохом истлевших венков, а на глинистой насыпи – крошки прогнивших досок, и стало ясно, что могильщики, работая в тесноте, слегка потревожили гроб покойной, обветшавшее дерево не устояло под напором зубастых лопат.

Гроб вновь прибывшего установили на свежевырытый ворох суглинка, настала минута прощания, все молча смотрели на Игоря.

– Надо бы что-то сказать, – нахмурился он и со значением посмотрел на багроволикого сослуживца покойного. Тот сделал шаг вперёд. Гмыкнул, пробуя голос и снова обнаруживая свой редкий бас-профундо, как бы специально созданный для последних напутствий у ледяных вод Стикса.

– Дорогие друзья!..

Стало слышно, как осыпается кромка могилы. В старину такой голос называли бас-бездна.

– Умер Коля Богатырёв...

У него было южнорусское произношение с раскатисты «гэ», и фамилии типа «Богатырёв» он произносил демократично, по-свойски – «Багатырёу».

– Мы знали тебя как верного друга, хорошего специалиста и семьянина. Пусть земля тебе, Коля, будет пухом.

С кромки могилы непрерывными струйками осыпалась земля. А бас-профундо сделал шаг назад, давая понять, что весь завод его кончился и дольше стоять у студёных вод Стикса он не намерен. Пусть покойник плывёт себе с богом. Игоря возмутило подобное ренегатство. И это называется друг, соратник, собутыльник, наконец? Да если природа отпустила тебе такую бездну голоса, что ж ты жмёшься? Или боишься, что после речи твоей слов убавится в мире? Нет, ты глянь на него: огорода нет, а пугало стоит! То есть Игорь готов был ещё возмущаться какое-то время, но парни с лопатами уже изготовились нахлобучить крышку на гроб.

– Пойдите, – сказал он, и те в недоумении остановились. – Так дело не пойдёт.

Потому что человеческая жизнь значительней и глубже слов, какие можно о ней сказать. И стоит ли скупиться на слова, когда человек прожил жизнь, не прячась в кусты, а вместе с народом расхлёбывал все наши беды. Ну, был он эгоист, так, может быть, ничуть не больше, чем другие. Он и войну прошёл от звонка до звонка, и дважды был ранен, и в тыл к врагам его забрасывали, и выпрыгивал он с парашютом из горящего самолёта. И в том, что сегодня над нами и в скорби, и в радости мирное небо, есть и его негромкая заслуга. Да и после войны, поди, тоже не брагу медовую хлебал он в нашем отечестве, и, может, подвигов не совершал, и, может, были там просчёты какие и промахи, сейчас их подсчитывать не время, не место. А скажем так, что выросли два сына у него, и внук растёт, а значит, жизнь не пресеклась и не заглохла, и глазами его сыновей, его внука долго ещё будет смотреть на мир душа Богатырёва – с его жадностью к жизни, с его беспокойством, с его тягой быть среди людей.

Он говорил и видел. Как потупилась, склонила голову в печали Валентина, и как Любовь Богатырёва стоит уже не в профиль, а развернулась, смотрит на него в упор, глаза её жгут, как горящие угли. И Валюсик глядит на него не с ненавистью, нет, а с недоумевающей и, видать, мало знакомой ему скорбью. Даже у Валерия с Валентином сквозь отупелое похмелье проглянула сиротская и совсем уж бесхозная мысль – не о выпивке, нет, – о вечности.

Ну вот и будет, сказал он сам себе, теперь уж с Богом. Но, слушая неизбежный, глухой, деловитый стук молотков, вбивающих гвозди в крышку гроба, опять встревожился. Хоть бы ради приличия кто-нибудь заплакал. Как на грех – ни у кого ни единой слезы!

Рядом в одно время с ними прибыл ещё новосёл. Там почти синхронно разворачивались события, но они стопорились не из-за речей, а от горя и слёз, оттого что живые никак не могли одолеть последнее, на веки вечные прощание. А тут – ни слёз, ни обмороков, ни рыданий.

Но когда у соседней могилы страшно заплакали женщины – не громко и даже не навзрыд, а именно страшно, тем последним плачем, когда опускают гроб туда, и шуршат, потрескивая, нагруженные полотенца, и сыплется змейкой, мелко барабана по крышке гроба преждевременная, потревоженная у кромки могилы земля, а лица опускальщиков багровы и настороженны, потому что надо, чтобы домовину не перекосило, не заклинило, и уловить тот миг, когда нужно выдернуть из-под гроба полотенца, ещё неразрезанные, не повязанные на рукава копальщикам, и вафельная ли из хлопчатки, льняная ли с цветной каёмкой полоса кажется бесконечной и длинной, как вечная и совсем не земная дорога, по которой ступает своими неслышными и бестелесными стопами измученная и умиротворённая душа почившего... Когда раздался глухой и запредельный плач у соседней могилы, сыскалась плакальщица и у них.

Валентина вдруг закричала криком, в голос, да негромко, а, пожалуй, вполсилы, но это был тот плач, от которого мужчины напрочь теряют самообладание и долго потом не могут его найти. Она закричала, и её, сокрушённую горем, с двух сторон подхватили два Валентина – сын и отец её сына, а в прошлом её, возможно, любимый и любящий муж, возможно, Богом данный, но, это уж очевидно, что у Господа Бога та минута, когда он одарил её мужем, была не самая добрая. Горькая была минута, когда Господь одолевал, поди, неурожаем в странах Юго-Восточной Азии – неурожаем, грозящий голодом и повальным мором, а может, предотвращал очаг войны на Ближнем Востоке, могущий прихватить аравийскую нефть и неостановимо вспыхнуть третьей мировой войной. Впрочем, можно предположить, что в тот миг появился какой-нибудь новоявленный вирус, изобретённый лучшими умами эпохи для обуздания вконец распоясавшегося духа человека и его безудержной плоти, но, применённый в виде пробы для усмирения безнадёжно отсталой страны Центральной Африки, он вырвался из-под военного контроля и, перекинувшись на другие континенты, озверел, точнее – осатанел, грозя истреблением всему роду людскому. Так что Господу Богу пришлось лично консультировать генсека ООН, чтобы в пожарном порядке принять контрмеры.

В общем, у Бога нас много, и занятый решением неотложных глобальных задач, погружённый в неутрачивающую человеческую смуту, он с мужем Валентины явно недоглядел, недоучёл все частности этого, быть может, мелкого в масштабах мироздания вопроса, быть может, не требующего вмешательства ООН, однако райотдел милиции там вмешивался, и до сих пор остаётся неясным, как Валентину удалось избежать ДТП.

Ну а как следствие недоработки Всевышнего с Валентином, с Валюсиком тоже уже намечались проблемы, далеко не простые и не безобидные, решать которые опять же не с руки ни спецкомиссии ООН, ни тем более Господу Богу, а решать их с руки детской комнате милиции, её инспектору, тоже матери-одиночке, у неё таких Валюсиков за сотню, да и собственный сын-третьеклассник с ключом на шею шалается где-то от темна до темна. Вот хотела б я знать, говорила она сама себе, каждый раз взволакивая в свою заброшенную квартиру авоську с продуктами, отвоёванными в очередях во время тайм-аутов, которые она вынужденно брала по ходу ежечасной борьбы с малолетней преступностью, – хотела б я знать, говорила она, где его черти носят. Со временем она получит ответы на интересующие её вопросы у своей же коллеги, ведущей борьбу с малолетней преступностью, правда, в соседнем районе. Как бы то ни было, о Валюсике та мать-одиночка из детской комнаты милиции знала, может, не всё, но много больше, чем о собственном сыне, хотя этот самый Валюсик, сказать по правде, ей на дух не нужен. Но борясь за человека будущего в лице Валюсика и всех прочих подрастающих подонков, она не могла заняться собственным сыном, собственным бытом, устройством своей личной судьбы. Зарплаты едва хватало на мало-мальское жизнеобеспечение, работы было невпроворот, и она старалась прихватывать выходные и праздники – не только потому, что там двойная оплата, а чтобы не взвыть с тоски и одиночества, когда тебе отпущено время на личную жизнь...

Они подхватили её с двух сторон, сын и муж, Богом данные, она зашлась в рыдании, и это был плач не только по усопшему, а может быть, вовсе и не по нему. Она оплакивала себя, свою долю, своих непутёвых мужиков, которым не отпущено ни ума, ни таланта, а если и отпущены ум и талант, то не дано умения жить, быть добрыми, великодушными, щедрыми, не дано самозабвения думать о других, стремиться к высокому, а дано это подлое, ползучее стремление к мелкой выгоде, к тому, чтобы утешить даже не дух свой, а свою ненасытную, жадную плоть. Она

оплакивала любимого, который рядом, от нежности к нему замирало, истаивало сердце, но она не смела даже руку протянуть в его сторону.

– Ну, хватит, мать, – сказал ей Валюсик. – Неудобно же. Люди...

Чего это она так? Или в самом деле жалеет старика, думала Ильинична. Может, Коля делал добро, про которое мы не знаем. И она вздохнула, глядя на Игоря, которого она втянула в это дело, а он и так, видишь ты, вымотался весь, у него своих забот невпроворот.

Надо запомнить этот плач, этот голос, думала Богатырёва, эту интонацию – с хрипотцой и надрывом. А ну-ка, попробуй? А-а, не можешь, не получается, это тебе не на сцене, это на сцене ты можешь сделать всё, что угодно. Да, и не забудь вот этот жест её, как она надломилась, заставила их подхватить себя под руки, и журналист наш дёрнулся туда же, тоже поддержать и утешить, но, смотри-ка, осёкся, взял себя в руки. Ай да Валентина, ай да тихоня! Вот тебе и поворот в сюжете. А я-то, старая дура, я-то размечталась...

Валентину сотрясали рыдания, Игорь ничем не мог ей помочь. Он смотрел на Павлуху, на Галкино лицо, когда-то единственное и самое желанное. На мать, ей кажется, что она себе на уме, что она про всех всё знает, но до чего же она задолбана жизнью, для неё эти похороны как репетиция своих собственных похорон. И всё-то ей надо лезть в чужую жизнь, и в мою тоже, соучаствовать, переиначивать на свой лад. А ты в своей бы разобралась, а то папочка наш, твой бровастенький ангел, он неспроста, наверное, пристроился пахать вахтовым методом. Если бы только в деньгах тут было дело, мамочка! Он ведь забыл у тебя, под жёстким твоим и холодным крылом, что такое тепло и простое бабье внимание. Ох и распахнёшь ты однажды глаза свои, мамочка!..

Он смотрел на сына, на жену, на мать, на Валентину, и слёзы перехватывали горло. Как же мне жить с вами дальше, родные мои и любимые, как не потерять мне вас, как вернуть? И как от себя не уйти, остаться самим собой, не потерять себя в дороге?.. Вот о чём писать надо, думал он, а совсем не о том, о чём ты пишешь.

Глухо падала земля в могилу, и, как давеча в церкви, сами собой, по наитию, без понуждения и как бы независимо от него говорились шёпотом, а может, беззвучно слова, которые он тут же забудет и не поверит, если ему сказать, что он их говорил. Но слова эти соединяли вместе – пусть на время, пусть ненадолго – непримиримые, разрозненные части его измученной души. Я избавился от скверны, шептал он, сам себя не слыша, я чист помыслами, я отряхнул прах с моих ног, ушёл от суетного, готов соприкоснуться с вечными истинами. Не оставь меня, Господи, в трудах моих, укрепи меня, грешного. Дай мне силы продолжить мой труд...

Январь 1986 – август 1988, 2007.

Алма-Ата

